

Полина К.

Пока я здесь

Я стараюсь
быть хорошей

Но внутри —
тишина

Иногда просто
сложно
дышать

Иногда
нужно просто,
чтобы кто-то
услышал.
Ты не одна.

ДЛЯ ТЕХ,
КОМУ ТЯЖЕЛО,
НО НЕТ
ПРИЧИНЫ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

8-800-2000-122

(124 — КОРОТКИЙ НОМЕР)

Полина Касымкина

Пока я здесь

«Автор»

2026

Касымкина П. В.

Пока я здесь / П. В. Касымкина — «Автор», 2026

«Я не грустная. Я просто выключилась, а кнопку не нашла». Ане четырнадцать. У неё есть школа, восьмой класс и сорок семь непрочитанных сообщений от бывшей лучшей подруги. И то, чего не видно со стороны: каждое утро ей приходится заново придумывать причину встать. Дома все дома — и никто ни с кем не разговаривает. Мама считает, что дочь разленилась. Папа говорит про оценки и ужин, потому что других слов у него не осталось. Семилетний Мишка — единственный, кто спрашивает прямо: «Тебе грустно?» Аня давно поняла: скажешь правду — не услышат. А если услышат, скажут, что выдумала. Рассказ о том, как невыносимо трудно попросить о помощи. И о том, что потом наступает не «всё хорошо», а возможность дышать чуть глубже. Один звонок. Один кабинет за школьной столовой. Один человек, который просто не ушёл. Для подростков 13–17 лет и для взрослых, которые хотят понять, что происходит за закрытой дверью детской. Без нравоучений и без «просто соберись».

© Касымкина П. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Утро, которое не начинается	5
Глава 2. Дни, которые одинаковые	9
Глава 3. Когда слова не доходят	13
Глава 4. Точка, после которой тише	18
Глава 5. Страшно сказать вслух	22
Глава 6. Голос на том конце	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Полина Касымкина

Пока я здесь

Глава 1. Утро, которое не начинается

Будильник зазвонит в семь. Сейчас двадцать минут шестого, и я лежу и жду.

Я не то чтобы не сплю. Я спала. В какой-то момент сон кончился, а утро ещё не началось, и в этой щели между ними теперь проходит половина моей жизни. Лежишь, слушаешь, как гудит холодильник на кухне. Считаешь машины во дворе: одна завелась, вторая, третья. После четвёртой обычно светлеет.

Над кроватью у меня кусок обоев, который я отковыряла лет в семь. Мама тогда заклеила его скотчем, чтобы я больше не лезла. Скотч пожелтел и висит седьмой год. Никто, кроме меня, его не замечает — я специально проверяла, спрашивала у мамы, помнит ли она. Она сказала: «Что?»

Знаете, что самое дурацкое? Я не могу объяснить, что со мной. Не болит ничего. Температуры нет. Меня никто не бьёт, не выгоняет из дома, у меня есть телефон, куртка и своя комната. По всем признакам у меня всё нормально. Просто я выключилась где-то в ноябре, а кнопку не нашла.

Дверь распахивается — без стука, конечно.

— Аня. Аня. Ань. Ты спишь?

Мишка. Семь лет, первый класс, температура тела примерно как у чайника.

— Сплю.

— Не спишь, у тебя глаза.

— Глаза тоже спят.

Он залезает ко мне под одеяло целиком, вместе с ногами, ледяными, как будто он ими в морозилке стоял. Пахнет от него подушкой и вчерашним печеньем.

— Ань, а если я скажу, что заболел, меня не поведут?

— Поведут.

— А если по-настоящему?

— Тогда не поведут. Но ты не по-настоящему.

Он вздыхает так, будто ему сорок лет и он всё про эту жизнь понял.

— Я просто не хочу пенал носить, — говорит он в подушку. — Он гремит.

Вот бы у меня всё было такое. Гремящий пенал. Понятная причина, которую можно назвать вслух за три секунды, и тебе сразу ответят по существу.

Из коридора:

— Аня! Встала?

Мама не ждёт ответа. Она никогда не ждёт ответа на этот вопрос: спрашивает и сразу идёт дальше, и по шагам слышно, что она уже на кухне и уже что-то там переставляет.

— Встала, — говорю я в потолок.

Мишка смотрит на меня очень серьёзно.

— Ты соврала.

— Я округлила.

На кухне работает чайник. Он у нас старый, электрический, и перед тем как выключиться, гудит на такой ноте, что зубы сводит. По утрам это вообще единственный звук, который у нас есть. Все на кухне, все ходят, а разговаривает только чайник.

Папа стоит у окна и ест бутерброд. Не сидит — стоит, как будто он тут в гостях и сейчас побежит. Он вообще последние года полтора всё делает так: быстро, стоя, мимо.

— Хлеб закончился, — говорит он.

Никому. В пространство. Мама, не оборачиваясь:

— Я вечером не успею, у меня вторая.

— Я не к тому.

— А к чему?

Пауза. Чайник щёлкает.

— Ни к чему, — говорит папа.

И всё, разговор окончен. У них так каждый раз: два хода, и партия закрыта. Я иногда думаю, что если бы они играли в шахматы, они бы сдавались на третьем ходу оба сразу, лишь бы не сидеть друг напротив друга.

Я наливаю себе чай и не пью. Держу кружку в ладонях, потому что от неё горячо, а руки у меня последнее время холодные и какие-то не мои. Кружка бабушкина, с отбитым краем. Пить надо с другой стороны, иначе губу порежешь. Все в доме знают, никто не выбрасывает.

— Ты ешь или медитируешь? — Мама наконец поворачивается.

— Ем.

— Я вижу, как ты ешь.

Мишка немедленно, с полным ртом:

— Она соврала, что встала!

— Мишка.

— Что? Правда же.

Мама вытирает руки о полотенце. Вот сейчас, думаю я. Сейчас она посмотрит на меня чуть дольше обычного и спросит. Не знаю что. Что угодно.

— В четверг собрание, — говорит она. — Мне там что про тебя скажут?

— Нормально всё скажут.

— Аня.

— Нормально, — повторяю я.

Вслух — «нормально». Внутри у меня в этот момент такой длинный текст, что его на две страницы. Что я сижу на уроках и не слышу их. Что я открываю тетрадь и смотрю в неё до звонка. Что я не ленюсь — я честно пытаюсь, я сажусь, я даже ручку беру. И ничего не происходит.

Но если я это скажу, будет вопрос: «А что случилось?» А ничего не случилось. Вот в чём беда. Ничего не случилось, и поэтому у меня нет права.

— В четверг, — повторяет мама. — Я отпросилась, между прочим.

Она это говорит так, будто вручает мне счёт.

В прихожей она надевает сапоги. Молния на правом заедает, мама дёргает её два раза, потом ещё раз. Дверь.

От подъезда до улицы девять ступенек. Я их считаю каждый раз, и каждый раз получается девять, но я всё равно считаю. Не знаю зачем. Пока считаешь, в голове ничего другого не помещается — может, поэтому.

Наушники надеваю сразу за дверью. Музыка в них не играет. Уже недели три, наверное, не играет: я надеваю их и иду в тишине с проводами на голове. Так меня никто не трогает. Идёт человек в наушниках — значит, занят, значит, у него там что-то важное, значит, не надо.

Вот вам маленький секрет, за который мне немного стыдно: самый рабочий способ спрятаться — это выглядеть занятой.

Двор, потом арка, потом дорога, где всегда лужа, даже в мороз — это, по-моему, физически невозможно, но она есть. Возле школы толпа. Я захожу и сразу иду по стенке, слева, там, где раздевалка.

Кира стоит у окна на первом этаже. С теми, новыми. Она смеётся, у неё новая куртка, короткая, и она в ней всё время поправляет рукава.

— О, привет, — говорит она мне.

— Привет.

И всё. Она поворачивается обратно, и это нормально, это правда нормально, у людей есть свои разговоры. Мы с ней с первого класса вместе ходили. Я знаю, как звучит её мама, когда сердится, а она знает, что я боюсь стоматологов до дрожи. А теперь у неё для меня есть «о, привет», как для вахтёра.

У меня в чате с ней висят непрочитанные. Я их не открываю. Сначала не открывала, потому что не знала, что ответить, а теперь не открываю, потому что прошло уже столько, что любой ответ будет странным.

На втором этаже двадцать две ступеньки. Возле медкабинета висит плакат — жёлтый, с оторванным углом, там кто-то нарисовал ручкой рожицу. Я хожу мимо него сто раз в неделю и ни разу не прочитала, что на нём написано. Оно как батарея или огнетушитель: висит и висит.

Литература — четвёртым.

Марина Витальевна раздаёт сочинения. Она ходит между рядами и кладёт тетради обложкой вверх, и по её лицу видно, кому что.

У окна сидит Даша Логинова. Она уже собрала рюкзак, хотя до звонка семь минут: Даша всегда уходит первой, как будто у неё каждый раз поезд.

Моя ложится последней.

Три.

У меня по литературе не было троек. Вообще. Я даже помню, как писала это сочинение: сидела в одиннадцать вечера, смотрела в пустой лист, потом написала первый абзац, потом ещё раз тот же самый первый абзац другими словами, потом ещё раз. Полторы страницы одного и того же. Я это видела, пока писала. И не смогла остановиться и сделать иначе.

— Мельникова, задержись на две минуты.

Класс ушёл. Марина Витальевна собирает бумаги со стола и не смотрит на меня.

— Ань, ты какая-то не такая в последнее время.

Я стою.

Она хочет добавить что-то ещё. Я по ней вижу, что хочет: она перебирает эти листы уже третий раз, они давно собраны.

— У тебя дома всё в порядке?

— Да.

— Ну и хорошо, — говорит она с облегчением, и вот это облегчение — самое обидное, что было за день. — Тогда просто подтянись, ладно? Ты же можешь.

Звонок.

— Иди, а то опоздаешь.

А я ведь на секунду поверила. Мне показалось, что сейчас меня спросят по-настоящему, и я до сих пор не могу решить, что бы я тогда ответила. Наверное, тоже «да». Но она не спросила, и теперь я этого не узнаю.

Уроки после этого я не помню. Как будто их вырезали ножницами, а края склеили: вот я стою в кабинете литературы, а вот уже иду домой, и темно, и в кармане ключи, и я не помню звонка с последнего.

Дома Мишка ест макароны. Он ест их по одной. Берёт вилкой одну макаронину, разглядывает и только потом отправляет в рот. При такой скорости он закончит к июню.

— Ань, а ты почему не ешь?

— Я в школе поела.

— Ты и вчера в школе поела.

— У нас хорошая столовая.

— У вас плохая столовая, — говорит Мишка. — Мне Лёшка рассказывал.

Я сажусь рядом на подоконник и заворачиваюсь в плед. Плед бабушкин, колючий, в клетку, и от него до сих пор чем-то пахнет — не знаю чем, но точно бабушкиным. Бабушка Валя умерла позапрошлой весной. С тех пор у нас в квартире стало тихо, и никто не заметил, когда именно. Тихо получилось не сразу. Оно как-то накапало.

За окном во дворе горит фонарь, и в нём косо летит мелкий снег. Внизу пацаны гоняют мяч по мокрому асфальту. Я смотрю на них сверху и думаю, что раньше я тоже была там, внизу, и это было буквально позапрошлой зимой, а ощущение такое, что смотрю кино про чужой район.

Папа приходит в девятом часу. Он всегда сначала долго возится в прихожей: куртка, ботинки, пакет.

— Поели? — спрашивает он от двери.

— Поели, — отвечает Мишка.

— Ну и молодцы.

Он проходит на кухню, потом в комнату, включает телевизор и садится. И всё. Между «поели» и «спокойной ночи» у нас с ним сегодня не будет других слов. Я не злюсь на него, честно. Я просто иногда пытаюсь вспомнить, когда он в последний раз что-нибудь мне рассказывал — не про лампочку, не про оценки, а просто так, — и не могу.

А вы вообще слышали, как звучит квартира, где все молчат? Это не тишина. Тишина — когда никого нет. А тут все дома: телевизор бубнит, у Мишки мультик через стену, кран капает, кто-то ходит. Полно звука. Просто ни один звук ни к кому не обращён.

Ладно. Пусть хоть будет тихо, пока я здесь.

Ночью я лежу и опять считаю машины. На третьей в замке проворачивается ключ — мама со второй смены.

Она снимает сапоги, гремит чем-то на кухне, наливает чайник. Потом идёт по коридору и останавливается у моей двери. Полоска света ложится на пол.

Дверь открывается.

— Не спишь?

— Сплю.

Она стоит. Я слышу, что она устала так, что ей самой бы кто-нибудь что-нибудь сказал. У неё волосы прилипли ко лбу, и она держит в руке телефон двумя руками, как держат, когда собираются кому-то важному написать.

Ну спроси, думаю я. Просто спроси ещё раз, только по-другому. Я даже не знаю, что отвечу. Но ты спроси.

— Хоть с тобой проблем нет, — говорит мама.

И вздыхает так, будто ей от этого легче.

— Спи давай.

Дверь закрывается.

Я лежу и почему-то не могу вдохнуть до конца. Как будто мне только что сказали спасибо за то, что меня незаметно.

Значит, работает.

Глава 2. Дни, которые одинаковые

— Мельникова. К доске.

Я встаю. По дороге между партами успеваю понять, что не слышала вопроса. Вообще. Голос у алгебраички шёл откуда-то из соседней квартиры, через стену: слова были, смысла не было.

Беру мел. Он холодный и сразу пачкает пальцы.

В углу доски с октября не стёрлось «С днём учи» — розовым, остальное затёрли, а это осталось. Я на него смотрю уже второй месяц и всё жду, когда сотрут.

— Ну?

— Я не расслышала задание.

— Задание на доске, Мельникова. Прямо перед тобой.

Оно правда на доске. Я его вижу. Цифры отдельно, скобки отдельно, а вместе — никак. Я стою и держу мел, и в классе становится очень тихо, а потом кто-то сзади хмыкает, и от этого хмыканья у меня горячо в ушах.

— Садись.

— Я могу...

— Садись, — говорит она уже мягче, и вот это хуже всего. — С тобой-то что происходит? Я иду обратно. За партой обнаруживаю, что до сих пор держу мел в кулаке.

Погодите, я по порядку. Просто по порядку тут не очень получается, потому что дни у меня в последнее время слипаются, как леденцы в кармане, — не оторвать один от другого.

Вот честно: понедельник, вторник и среду я вам пересказать не смогу. Что-то было. Я вставала, ходила, отвечала «угу», один раз ела в столовой булку — помню, потому что булка была сухая. Дождь шёл, потом перестал. В среду похолодало так, что лужа возле школы наконец замёрзла, и все на ней катались, а я обошла.

И всё. Три дня — сухая булка и лёд.

Вы, наверное, думаете, что я преувеличиваю. Я тоже сначала так думала. Пока не начала специально проверять: закрываю глаза и пытаюсь вспомнить хотя бы один разговор за вторник. Ни одного. Как будто вторник был, но не со мной.

На перемене в чате класса сорок сообщений про то, что физичка заболела. Кто-то кидает мем, все ржут. Я смотрю в экран и понимаю, что не понимаю, что смешного, — не потому что несмешно, а потому что до меня не доходит сама идея смеяться.

Мимо проходит Кира. С ней те две, из «б», и она рассказывает им что-то, размахивая рукой с телефоном.

— ...и я такая: ну ты серьёзно?!

Они смеются. Я стою у окна в трёх шагах, и меня не видно.

Раньше она мне так рассказывала. Про всё подряд, по дороге домой, целых двадцать минут от школы до арки, и мы ещё стояли в подъезде, потому что не договорили. Я знаю про неё столько всего, что этим можно было бы шантажировать её до одиннадцатого класса.

Кира меня не обижала. Это самое противное. Не было ссоры, не было гадости, ничего такого, что можно предъявить. Она просто перешла в другое место, где веселее, и я осталась стоять там, где мы стояли.

В четверг у мамы было собрание.

Она мне про это напомнила утром, но не словами — сообщением, уже из маршрутки: «сегодня в 18 собрание. надеюсь мне не будет стыдно».

Без точки в конце. Она всегда пишет без точек, и от этого фразы получаются какие-то обрубленные, как будто её посреди слова отвлекли.

Я прочитала это на первом этаже, у раздевалки, и у меня зачастило в горле. Не в груди — именно в горле, будто там что-то мелко стучало.

А до шести оставался ещё целый день. Целый день с этой фразой в кармане.

А дальше было то, чему я так и не нашла объяснения, — и вам, наверное, будет так же непонятно, как мне.

Последний урок кончился в двадцать минут второго. Я это точно знаю: я посмотрела на телефон в коридоре, там было 13:22, и я подумала, что надо зайти в аптеку за Мишкиными витаминами, потому что мама просила.

А потом я сижу на скамейке.

Не у школы. У чужого дома, в соседнем дворе, где я вообще-то никогда не хожу. Темно. Фонарь горел через один. На коленях у меня лежал снег, тонкой такой полосой, и он не таял — значит, я сидела там уже давно.

Телефон: 16:47.

Три часа. Между двадцатью минутами второго и без тринадцати пять — ничего. Не то что я не помню, — я даже не могу сказать, было ли там что-нибудь вообще. Пустое место. Как страница, которую вырвали, и корешок ровный, будто там ничего и не было.

Мимо прошла женщина с маленькой лохматой собакой. Собака дёрнулась ко мне, женщина её оттащила и сказала: «Фу, Дуся, не приставай к людям». Не «девочка, ты чего тут сидишь одна в темноте». Просто «не приставай к людям» — как будто я тут вещь, лавочка с рюкзакom.

Я сидела и смотрела на этот экран, и первое, что подумала: витамины. Я не купила витамины.

Второе: у меня руки без перчаток.

Пальцы не гнулись. Я на них дула, и мне не было ни больно, ни холодно — никак, как будто это чужие руки, а я сидела рядом с ними.

Я встала и пошла. Не побежала. Я тогда почему-то совсем не испугалась, испугалась потом, дома. А в тот момент у меня в голове была одна мысль, ровная и глупая: главное — успеть до шести, пока мама не ушла на собрание.

По дороге я считала подъезды. Не знаю зачем. Их было одиннадцать. Потом светофор: сорок пять секунд, я досчитала до двадцати восьми и сбилась, потому что рядом затормозил автобус.

В лифте я посмотрела в зеркало и увидела, что у меня наушники на шее. Провод болтается. То есть я, наверное, всю дорогу шла в них.

Дома пахло жареной картошкой. Мишка в прихожей стоял на одной ноге и держал второй ботинок.

— Ты где была?

— Гуляла.

— В такую холодрыгу?

— Ага.

— Одна?

— Мишка.

— Что? Я спрашиваю.

Мама вышла из кухни уже в пальто, на ходу наматывая шарф.

— Картошка на плите. Мишку покорми, я в семь буду.

— Угу.

Она посмотрела на меня на секунду дольше, чем обычно.

— Ты чего красная?

— С холода.

— Шапку надевай, у тебя уши отвалятся.

Дверь.

И вот тут меня наконец догнало. Я стояла в коридоре, держалась за косяк, и до меня доходило: три часа. Меня три часа не было. И никто. Ни одного пропущенного. Ни одного сообщения — ни «ты где», ни «когда придёшь», ничего.

Я специально открыла телефон и проверила два раза, как дура.

Мишка пришёл и уткнулся мне в бок головой, потому что ему нужен был пластилин, а он в верхнем ящике.

Пока я его доставала, Мишка сказал:

— Ань.

— М.

— А ты грустная, да?

Вот так. Прямо. Никаких заходов. Семь лет.

— Нет.

— Грустная, — сказал он спокойно, как будто сообщал, что на улице зима. — У тебя лицо, как когда бабушка умерла.

Я стояла с этим пластилином в руках и не знала, что сказать. Меня за полгода никто ни о чём таком не спросил. А спросил тот, у кого ботинки на липучках и который до сих пор путает «б» и «д».

— Просто устала.

— От чего?

— От школы.

— А, — сказал он и сразу потерял ко мне интерес. — Мне синий нужен, у меня синий кончился.

Ужинали мы вдвоём. Точнее, ужинал он, а я сидела напротив и катала по тарелке кусок картошки, пока он не развалился. Есть я не могу — не то что не хочу, а как будто механизм отключили: кладу в рот, жую, и никакого вкуса. Вода — единственное, что я последнее время чувствую.

Мишка рассказывал про Лёшку, который на физкультуре съехал по канату и содрал ладони, и это было хорошо, потому что можно было слушать и кивать, и ничего от меня больше не требовалось.

Пусть у него хотя бы так и останется, пока я здесь: канат, пластилин, синего не хватает.

Мама пришла в десять минут восьмого.

По тому, как она сняла сапоги — один, потом второй, с паузой, — я всё поняла ещё из комнаты.

Она не кричала. Иногда лучше бы кричала.

Она села на кухне, положила телефон экраном вниз и сказала:

— Ну и как это называется?

Я молчала.

— Марина Витальевна меня отдельно отозвала. Отдельно, Ань. При всех. «Аня очень изменилась».

— Она мне то же самое сказала.

— И?

— Что «и»?

— И ничего? Тебе говорят, а ты — ничего?

Я стояла в дверях кухни и смотрела, как у неё дрожала рука, когда она отодвигала солонку. Она вообще всё время что-то передвигает, когда злится: солонку, чашку, полотенце.

— Я стараюсь.

— Я в твоём возрасте и училась, и за бабушкой ходила, и... — Она остановилась на середине и махнула рукой, будто отгоняла комара. Она часто так: начнёт и бросит, и непонятно, что там было дальше и было ли вообще.

— Ты стараешься, — повторила она таким голосом, что лучше бы не повторяла. — Аня. Я работаю, чтобы у вас всё было. Я сегодня отпросилась, мне это в смену запишут. Я сижу там целый час и слушаю, как про мою дочь говорят вот такое.

— Прости.

— Мне не «прости» надо!

Она наконец посмотрела прямо на меня, и я увидела, что она не злая. Она напуганная. Только у неё испуг выходит наружу вот так — через солонку и голос.

— Что с тобой происходит? — спросила она.

И тут у меня открылся рот.

Я честно хотела. Вот прямо в эту секунду я хотела сказать: мам, я сегодня потеряла три часа. Я вышла из школы днём, а очнулась на скамейке в темноте, и я не знаю, где я была, и мне очень страшно, мам.

— Ничего, — сказала я. — Правда ничего. Я исправлю.

Потому что если сказать — надо будет объяснить. А я не смогу объяснить. И тогда окажется, что это просто отговорка, что я придумала, чтобы не получить за оценки. Она посмотрит на меня и скажет: «Не выдумывай». И вот это я уже не переживу.

— Исправишь, — сказала мама устало. — Иди делай уроки.

Она взяла телефон и перевернула его экраном вверх. Разговор кончился.

Папа пришёл позже и что-то спрашивал в коридоре, и я слышала, как мама ответила: «Потом». Один звук — и всё, тема закрыта на всю квартиру.

Ночью я лежала и не спала, и внутри у меня крутилось только одно: три часа. Где я была. Что я делала. А если это повторится? А если в следующий раз не три?

И спросить про это некого. Не подойдёшь же к маме со словами: «Слушай, я иногда пропадаю».

Я взяла телефон, чтобы посмотреть время, и он открылся на переписках.

Первый в списке — чат с Кирой. Я его не открывала с сентября, а висел он наверху только потому, что она долго мне писала.

Кружочек. Внутри — 47.

Сорок семь сообщений, которые мне написал человек, который меня когда-то знал. Последнее — двенадцатого октября.

Я лежала и смотрела на эту цифру и думала почему-то не про Киру. Я думала, что сорок семь — это сорок семь раз, когда кто-то обо мне вспомнил. И что с двенадцатого октября это число не выросло ни на один.

Я не открыла.

Я положила телефон экраном вниз — точно так же, как мама на кухне.

Глава 3. Когда слова не доходят

На биологию я не пошла.

Не потому что смелая. Просто прозвенел звонок, все повернули направо, а я осталась стоять у окна в переходе и не смогла сделать шаг за ними. Ноги были. Шага не было.

Я досчитала до двадцати, чтобы это выглядело так, будто я кого-то жду. В школе можно стоять где угодно, если у тебя в руке телефон. Телефон — это пропуск. С ним ты не «странная», ты «занята».

На двадцати мимо прошла физручка и ничего не сказала.

И вот тогда я решила пойти в медкабинет.

Сейчас будет глупо, но я расскажу. Я всю ночь до этого думала: чтобы тебя услышали, надо, чтобы это было по правилам. Просто так подойти и сказать «мне плохо» — нельзя, потому что сразу спросят, что случилось, а у меня не случилось ничего. А в медкабинете так можно. Там люди только за этим и ходят. Там даже не надо объяснять — там меряют.

Я всю дорогу до второго этажа репетировала. Двадцать две ступеньки — двадцать две попытки.

«Мне нехорошо».

«Мне как-то нехорошо».

«У меня кружится голова». — Вранья не надо, вранье она сразу увидит.

«Мне нехорошо, только не так, как обычно».

Вот на этой я и остановилась. Она была самая близкая к правде и самая дурацкая.

У медкабинета никого не было. Я встала у двери и уставилась в стену, потому что на стене висел плакат.

У вас в школе такой висел? Жёлтый, с ромашкой в углу. Он висит там с сентября, у него оторван нижний угол, и кто-то шариковой ручкой пририсовал на ромашке рожицу с квадратными глазами. Я мимо него ходила сто раз и ни разу не читала. Мало ли что в школе на стенах: график дежурств, портрет какого-то писателя, вот это.

А тут я стояла и мне было нечего делать, и я прочитала.

«Если тебе плохо и не с кем поговорить — позвони. Тебя выслушают».

Я прочитала это два раза, и внутри у меня что-то злобно дёрнулось.

Потому что этот плакат — он для тех, у кого случилось. У кого дома бьют. У кого что-то страшное, настоящее, с милицией и справками. У них есть причина, и у них есть слова, и когда они позвонят, им ответят: конечно, приходи.

А я что скажу? «Здравствуйте, у меня всё нормально, но я не хочу вставать»?

У меня нет ни синяка, ни справки, ни причины. Мне нечего предъявить.

Дверь открылась, и оттуда вышел первоклассник с зелёной коленкой, весь такой гордый, и за ним женщина — на двери написано «Смирнова Т. Н.», а как её зовут по-человечески, я не знаю до сих пор. Она мне кивнула: заходи, раз стоишь.

Внутри пахло спиртом и старой клеёнкой. Я села на кушетку, и она села напротив, и я открыла рот.

— Мне... — сказала я.

— Градусник под мышку, — сказала она и сунула мне градусник.

Мы посидели молча. Электронный градусник пикнул неприлично громко.

— Тридцать шесть и четыре, — прочитала она. — Голова болит?

— Нет.

— Тошнит?

— Нет.

— Ела сегодня?

— Ела, — сказала я.

Не ела. Но если бы я сказала «нет», она бы дала мне печенье и на этом бы всё кончилось, а мне нужно было не печенье.

Она посмотрела на меня, и я поняла: вот сейчас. Вот сейчас она спросит нормально, и я скажу. Я даже вдохнула.

— Ну а чего тогда пришла? — спросила она. Не зло. Устало.

И у меня всё осыпалось.

Я сидела на кушетке, болтала ногой и слушала, как в коридоре за дверью идёт урок — то есть не слышно вообще ничего, — и не могла достать из себя ни одного слова из тех двадцати двух, которые несла по лестнице.

— Голова кружилась, — сказала я. — Уже прошло.

— Ну и хорошо. — Она уже писала что-то в журнале. — Посиди пять минут и иди на урок. Если что — приходи.

Если что.

Взрослые всё время говорят это «если что». А потом наступает то самое «если что», и оказывается, что у них у всех в этот момент дела.

Я вышла. Плакат висел на месте, рожица на ромашке смотрела квадратными глазами.

Я не стала его дочитывать.

Литература была шестым уроком, последним, и я весь урок готовилась.

Не к литературе. К тому, что останусь после.

Марина Витальевна — она из всех у нас самая нормальная. Она в прошлом году спрашивала, почему я стала хуже писать, и в сентябре задержала меня после урока, и у неё тогда было такое лицо, будто она правда хочет знать. Я тогда сказала «нормально всё», потому что была не готова. Вот я и подумала: раз она уже спрашивала — значит, ей можно.

И перед этим я сняла наушники.

Я их ношу без музыки уже недели три, они у меня как забор: пока они на мне, ко мне не подходят. И я специально сняла их и положила на парту, чтобы было видно: я готова. Я тут. Со мной можно разговаривать.

Никто не заметил. Ну а что я хотела — чтобы объявили по школе?

Звонок. Все ломанулись в дверь, Ромка снёс стул, Марина Витальевна крикнула ему в спину что-то про стул. Класс опустел за сорок секунд. Я сидела и складывала пенал, очень медленно, как будто у меня в пенале сто предметов.

— Ань? — сказала она. Она собирала со стола тетради в стопку и ровняла её об стол: тук, тук. — Ты что-то хотела?

— Да, я... — Я встала. Стул скрипнул. — Марина Витальевна, я хотела спросить...

И тут дверь открылась.

— Марин, ты идёшь? — В кабинет заглянула математичка из соседнего. — Тебя ждут, там уже все собрались, планёрка же.

— Иду, иду. — Она сгребла тетради. — Секунду.

Дальше секунды не было. Дальше она посмотрела на меня уже вполоборота, уже с тетрадями, уже наполовину в коридоре, и сказала:

— Ань, давай в понедельник, ладно? Ты подойди, я после третьего свободна.

— Ладно.

— Ты только не забудь.

— Не забуду.

Она вышла. Дверь у нас на доводчике, она закрывается медленно, целую вечность, и я стояла и смотрела, как эта дверь едет.

Мне не грустно было. Мне было — как будто из меня вынули шнур.

Я вам скажу одну вещь, а вы считайте сами. В ту пятницу я четыре раза начала говорить. Медсестре, ей, а потом ещё два раза, о них дальше. Ни один раз не дошёл. И ни один человек не был виноват. У медсестры был мальчик с коленкой, у Марины Витальевны — планёрка. Оказывается, чтобы тебя не услышали, никому не надо быть плохим. Достаточно, чтобы у всех были дела.

Потом я посмотрела на доску. Там всё ещё торчало это розовое «С днём учи», недописанное с осени, — его никто не трогал столько недель, что оно уже как будто было частью доски. Я взяла тряпку и стёрла. Мел засох, пришлось тереть, тряпка воняла.

Просто надо было что-то сделать руками.

Дома на телефоне висело мамино: «купила витамины мишке?? третий раз прошу».

Два вопросительных знака. Точки в конце нет, а два вопросительных есть.

Я не купила. Ни в первый раз, ни во второй, и оба раза я честно собиралась. Я вообще много чего собираюсь. У меня внутри как будто есть список дел, и он есть, я его вижу, но между «вижу» и «делаю» — метров сто, и я эти сто метров не иду.

Ладно. Я взяла Мишку, и мы пошли.

— А почему я? — спросил Мишка, пока я запихивала его во вторую штанину.

— Потому что одному тебе дома нельзя.

— А тебе можно?

— Мне четырнадцать.

— А мне семь с половиной, — сказал он с достоинством. — Это уже почти восемь.

В аптеке пахло, как во всех аптеках, — как будто там разлили чистоту. Мишка сразу прилип к витрине с пластырями, потому что там были пластыри с динозаврами.

А я стояла в очереди и вдруг поняла, что не помню, какие витамины.

Вот совсем. Мама писала мне название, я это название читала. Оно было. И его нет. Я стояла и смотрела в чат, листала вверх, и там были её сообщения про хлеб, про ключи, про «не забудь мусор», а про витамины — только вот это, с двумя вопросительными.

И прямо там, в очереди, я услышала свой пульс в ушах. Не из-за витаминов. А потому что вот опять: было — и нет. Как те три часа.

— Девушка? — сказала аптекарша. — Вы будете что-то?

— Да. Извините. — Я сглотнула. — Витамины ребёнку. Семь лет.

— Какие?

— Обычные.

Она посмотрела на меня как на человека, который пришёл в обувной и просит «обувь».

— Мишки! — заорал Мишка от витрины. — Вон те, которые мишки! Мне мишки, потому что я Мишка!

— Мармеладные, — сказала аптекарша. — Со вкусом апельсина?

— Ага, — сказала я. — Давайте мишек.

Логика железная. Мишке — мишки. Мама вообще-то просила какие-то другие, но пусть.

На улице уже стемнело — полшестого. Мишка нёс пакет сам и держал его двумя руками, как будто там хрусталь, а не мармелад за семьсот рублей.

— Ань. Ань. Ань, — сказал он. — Ань!

— А?

— Я тебе три раза сказал!

— Что сказал?

— Что у нас утренник! — Он остановился посреди тротуара, и мне пришлось остановиться тоже. — Двадцать пятого! Я фонарь!

— Кто?

— Фонарь. Я стою и свечу. У меня будет вот такой... — он показал руками что-то круглое, — на голове. И мне надо, чтобы кто-нибудь пришёл. Все приводят. Лёшка приводит бабушку.

— Мама придёт.

— Мама на работе, — сказал он спокойно, как факт погоды. — Ты придёшь?

И я сказала:

— Приду.

И тут же испугалась. Потому что двадцать пятое — это через три недели, а я не знаю, какая я буду через три недели. Я не знаю, какая я буду завтра. Я вчера потеряла три часа и никому не сказала.

— Точно? — сказал он.

— Точно.

Значит, надо прийти. Не «как-нибудь потом», а в конкретный день, к конкретному фонарю. Пусть хоть один фонарь на этом утреннике будет не один, пока я здесь.

Мы дошли до арки, и я достала телефон и позвонила маме.

Вот это и была третья попытка, если вы считаете.

Я даже придумала, с чего начну. Не с трёх часов — с малого. «Мам, мне что-то нехорошо в последнее время». И дальше как пойдёт.

Она сняла на четвёртом гудке. У неё за спиной кто-то громко считал вслух и что-то железное падало.

— Ань, что случилось? — сразу, быстро.

— Ничего не случилось.

— Тогда почему звонишь? У меня приёмка, я не могу.

— Я витамины купила.

— Какие взяла?

— Мармеладные. Мишки.

— Я же тебе писала, там другие... — Она отвернулась от трубки и крикнула кому-то: — Да пишу я, пишу! — И снова мне: — Ладно. Пусть эти. Ужин в холодильнике, Мишку покорми, не сиди в телефоне до ночи.

— Мам.

— Что?

И вот тут была секунда. Реально была. Такая маленькая, что если моргнуть — всё.

— Забыла, — сказала я.

— Ну вот вспомнишь — напишешь, — сказала мама. — Всё, целую.

Гудки.

Мишка стоял рядом и смотрел на меня снизу вверх, и я испугалась, что он сейчас опять что-нибудь спросит своё, прямое, от которого нечем закрыться.

Он спросил:

— А мармеладки — это лекарство или конфеты?

— Лекарство.

— Жалко, — сказал он. — Тогда, наверно, много нельзя.

Папа пришёл в девятом часу.

Я стояла на кухне и мыла кружку. Ту самую, бабушкину. Мыла я её долго, минуты три, там уже нечего было мыть.

Папа разогрел себе и ел стоя у окна, как всегда. Телевизор в комнате бубнил про погоду на выходные.

— Мишка спит? — спросил он.

— Спит.

— Ага.

Он поел. Поставил тарелку в раковину. Постоял.

Я не оборачивалась, но я слышала, что он не уходит. Он там стоял и, по-моему, смотрел мне в спину, и от этого у меня свело плечи.

— Ань, — сказал папа.

— А.

— Ты это... — Он покашлял. — Мать говорит, ты...

Он не договорил. Я стояла с кружкой и ждала, и вода текла, и я даже не догадалась её выключить.

— Ты, если... — сказал он.

Дальше он не сказал ничего.

Он вышел, и в комнате прибавили телевизор.

Я так и стояла с кружкой.

Глава 4. Точка, после которой тише

Пылесос орёт с восьми утра.

По субботам у нас генеральная уборка, и это не обсуждается. Мама включает пылесос как будильник: сначала в коридоре, потом под моей дверью, потом обязательно два раза в одном и том же месте, чтобы точно.

Про эту субботу рассказывать особо нечего, но я расскажу, потому что иначе дальше будет непонятно.

Мишку поставили протирать плинтусы. Он протёр два и объявил, что у него аллергия на плинтусы. Папа полез менять лампочку в ванной, уронил патрон, сказал слово, за которое мне бы не поздоровилось, и мама минут пять ходила и говорила, что в этом доме никто ничего не может доделать до конца.

Я мыла пол в комнате. Тряпка, ведро, всё нормально. Только пол оказался очень большой. Я домыла до середины, села на пятки и поняла, что вторую половину я мыть не буду. Не «не хочу» — просто её как будто нет во мне. Я посидела так минуты три и домыла. Никто не заметил, что там было три минуты, за которые я не двигалась.

Тело у меня в тот день было как будто на два размера больше, чем я. Тяжёлые руки, тяжёлая голова, и я всё время задевала косяки.

Днём мама вернулась из магазина и выложила на стол булочку с корицей.

Одну. Не четыре, не «к чаю всем» — одну, и положила ближе ко мне.

Я эту булочку в третьем классе считала главным событием недели. Я из-за неё однажды подралась с Мишкой, ему было четыре, он взял и откусил.

Я посмотрела на неё и ничего не почувствовала. Ни «хочу», ни «не хочу». Как будто мне показали фотографию булочки.

— Ешь, — сказала мама.

— Потом.

— «Потом», — повторила она.

И ушла в ванную развешивать бельё. Булочка лежала на столе до вечера, потом исчезла. Наверное, её съел Мишка. Наверное, мама увидела, что она лежит, и ничего не сказала.

Вот этого я тогда не поняла вообще. Что она её специально купила. Одну.

Часов в пять папа наконец добрался до лампочки в ванной и позвал меня.

— Ань. Иди поддержи.

Держать надо было табуретку, потому что у нас табуретка шатается с прошлого года, и папа на ней стоит, а мама каждый раз говорит, что однажды его так и найдут. Я держала. Он ковырялся в патроне и дышал через нос.

В ванной было тесно, и я стояла у него под ногами и смотрела на его ботинки — он в ботинках залез, конечно, и на белой табуретке остался след.

— Тут проводка старая, — сказал папа. — В этом доме всё старое. Я когда сюда въезжал, мне сказали: на пять лет. Восемнадцать лет уже.

Он повернул патрон, лампочка мигнула и загорелась.

— О, — сказал он. — Видала?

— Видала.

Он не слез. Постоял наверху, глядя на этот свет, как будто там что-то интересное.

— Ты как вообще? — спросил он оттуда.

Не мне в лицо. В лампочку.

— Да так, — сказала я.

— Ну да, — сказал папа. — Ну да.

И слез с табуретки.

Он унёс её на кухню, а я осталась стоять в ванной под новой лампочкой, которая светила ярче старой и от этого всё в ванной выглядело серым.

Вечером Мишка приволок ко мне в комнату свой костюм.

Костюм фонаря — это, если что, картонный цилиндр, обклеенный жёлтой бумагой, с прорезями для глаз, и на резинке. Его мама делала в четверг ночью, я слышала, как она резала картон на кухне.

— Смотри, — сказал Мишка и надел это на голову. — Я свечу.

— Ты светишь.

— Свечу, — упрямо сказал фонарь. — Мне так удобнее.

Из прорезей на меня смотрели два глаза. Он постоял, покачался, потом снял цилиндр и сел на пол, прямо у моей кровати, и стал возить пальцем по ковру.

— Ань.

— М.

— А ты со мной поиграешь?

Тут надо честно. Мне было четырнадцать лет, мне было нечего делать, у меня не болела ни голова, ни горло, брат сидел у моей кровати и просил поиграть.

— Не сегодня, — сказала я.

— А завтра?

— Завтра.

Он подумал.

— Ты вчера тоже сказала завтра.

Он не обиделся даже. Просто сообщил, как про погоду: вчера тоже говорила. Встал, взял свой фонарь под мышку и пошёл к двери. У двери остановился, вернулся, положил мне на одеяло одну мармеладку из тех, витаминных, — мишку, оранжевого, — и ушёл.

Он теперь не спрашивает, грустная я или нет.

Он теперь просто приносит.

Про воскресенье будет три строчки, и не потому что я забыла. Просто там правда ничего не было.

Я легла после завтрака «на пять минут» и встала в полшестого вечера. Не спала. Лежала. Иногда смотрела в телефон, там всё было про людей, которые что-то делают.

Голова с подушки не поднималась, хотя я не спала. Такого раньше не было. Раньше я хотя бы вставала, ходила, что-то делала руками — а тут не вставалось совсем.

Из комнаты через стену шёл телевизор. Родители смотрели кино — какое-то старое, с музыкой, папа его всегда смотрит, если попадает на середину.

В районе шести мама открыла мою дверь.

— Ты чего лежишь? На улице, между прочим, снег нормальный выпал.

— Видела.

— Иди к нам, там кино. Смешное.

— Не хочу.

Она постояла в дверях. Я лежала лицом к стене, и прямо перед глазами был тот самый скотч над кроватью — под ним дырка в обоях, моя, семилетняя. Скотч давно стал жёлтый и по краям отходит.

— Ну как хочешь, — сказала мама.

Дверь закрылась.

И я лежала и думала: вернись. Спроси ещё раз. Спроси третий раз, и я, может, встану.

Она не вернулась. А почему она должна была вернуться? Я же сказала «не хочу». Я взрослому человеку сказала «не хочу», взрослый человек мне поверил. Всё правильно.

Вы когда-нибудь ждали, чтобы вас спросили ещё раз? Не первый — первый ничего не значит, на первый все умеют отвечать «нормально». А вот второй, третий, когда уже видно, что человек не отстанет.

Ладно. Дальше про ночь, и дальше я буду коротко.

Ночью я не спала.

Я лежала на спине. Потом на боку. Потом опять на спине. В квартире было тихо. Холодильник гудел, кран капал в кухне, у соседей сверху кто-то один раз прошёл по коридору.

Часы на телефоне: 00:14. Потом 01:02. Потом 01:40.

Между этими цифрами ничего не было. Я не думала ни о чём конкретном. Просто лежала, и внутри было пусто и тяжело одновременно, хотя так вроде бы не бывает.

Я попробовала вспомнить, когда мне последний раз было хорошо. Не весело — просто нормально. Не вспомнила. Помню, что летом было, но как это было — не помню.

Я подумала: и завтра будет так же.

И во вторник.

И в среду.

Не в смысле «плохо» — плохо это когда болит. А в смысле вот так, как сейчас: никак. И конца этому нет, потому что для конца должно что-то произойти, а у меня ничего не происходит.

Мне бы просто не быть.

Вот так, одной фразой, без картинок и без ничего. Я даже не испугалась этой мысли. Она пришла тихо и легла рядом, как будто всегда тут была.

У меня в горле встал комок, и я лежала и глотала, и он не проходил.

Потом стало холодно. Ноги ледяные, руки ледяные, и одеяло не помогало.

Я лежала и слушала кран.

А потом я подумала про Мишку.

Что двадцать пятого он будет стоять на сцене в своём картонном цилиндре, и там будут все бабушки, и Лёшкина в том числе, и он будет смотреть в зал.

И у меня внутри что-то дёрнулось. Первый раз за очень долго — как будто ток прошёл.

Я села в кровати.

Сижу в темноте и понимаю одну вещь.

Со мной что-то не так.

Не «я ленивая», не «я расклеилась», не «переходный возраст, само пройдёт». По-настоящему что-то не так, уже месяц, а может, и три. Люди так не живут. Люди встают с кровати. Люди чувствуют вкус еды. Люди помнят, где были три часа.

Мне нужна помощь.

Я это подумала — вот прямо этими словами — и меня затрясло.

Потому что «мне нужна помощь» — это ведь не про меня. Это про других. Про тех, у кого правда беда, про кино, про новости. А если это теперь про меня, значит, я — та, кому нужна помощь. Значит, со мной серьёзно.

Значит, надо кому-то сказать.

А дальше началось настоящее.

Если сказать маме — она испугается. Она не разозлится, она испугается, а когда она пугается, она кричит. И она подумает, что это она виновата. Она будет ходить и повторять: где я недосмотрела. Я это видела, когда бабушка умерла.

Если сказать в школе — узнают все. У нас, если ты сходил к психологу, к тебе на следующей перемене подходят и спрашивают, что у тебя дома.

Если сказать — а вдруг они посмотрят и не увидят ничего? Я же выгляжу нормально. Хожу, ем при них, отвечаю. Скажут: соберись. Скажут: у тебя всё есть, что тебе не хватает.

Я сидела и считала свои руки на одеяле. Одна, две. Больше считать было нечего.

Знаете, что оказалось самым страшным? Не то, что мне плохо. К этому я привыкла, если честно. Самое страшное — что теперь придётся про это сказать вслух, кому-то, у кого есть лицо.

Я легла обратно.

И стала перебирать, кому это можно сказать. Как будто у меня очередь из желающих.

Маме — нет. Папе — он не договорил даже свою собственную фразу, он и мою не дослушает. Кире... Кира — это сорок семь непрочитанных сообщений и человек, который здоровается со мной «о, привет».

Марина Витальевна.

Она сама сказала: в понедельник, после третьего урока, я свободна. Она сама. Мне даже не надо ничего придумывать — надо просто прийти и не сбежать.

Дальше я до полчетвёртого репетировала первую фразу.

«Марина Витальевна, я, кажется, не справляюсь».

Нет. Слишком.

«Марина Витальевна, со мной что-то происходит».

Тоже как в сериале.

«Марина Витальевна, мне надо, чтобы вы меня выслушали, только не спрашивайте сразу что случилось, потому что не случилось ничего».

Длинно. Но честно.

Ладно, я скажу как получится. Пусть криво. Пусть я покраснею и буду смотреть в пол.

Я здесь. Пока я здесь — можно ещё попробовать сказать.

В 3:20 я взяла телефон и поставила будильник на 7:10. На десять минут раньше обычного. Чтобы утром не было времени передумать, чтобы я просто встала и пошла.

Потом я долго лежала с открытыми глазами.

Мне было страшно, как перед стоматологом, только хуже — потому что от стоматолога хотя бы понятно, чего ждать.

За окном проехала машина, свет от фар прополз по потолку.

До третьего урока оставалось шесть часов.

Глава 5. Страшно сказать вслух

Будильник я выключила в 7:09.

За минуту до. Смотрела, как меняются цифры, и выключила заранее, чтобы он не успел позвонить. Я всё равно не спала. Просто если он позвонит — значит, утро началось само, без моего разрешения. А так вроде как я его начала.

На кухне мама гладила Мишке рубашку прямо на столе, подложив полотенце. Мишка стоял рядом в одних трусах и жаловался, что рубашка колючая.

— Она не колючая, она чистая.

— Это одно и то же.

Я налила себе чай и села. Фраза лежала в голове целиком, готовая, я её всю ночь перекладывала: «Мне надо кое-что сказать». Четыре слова.

— Ань, ты бледная, — сказала мама, не поднимая головы. — Ты вообще спишь?

Вот. Вот же оно.

— Не очень, — сказала я.

— Телефон на ночь убирай.

И всё. Она перевернула рубашку и стала гладить рукав, а я осталась сидеть с четырьмя словами во рту. Мне открыли дверь и тут же закрыли, не заметив, что я не успела.

— У фонаря нет слов, — сообщил Мишка.

— Чего?

— На утреннике. Меня спросили, я сказал: у фонаря нет слов. Он просто светит. — Он подумал. — Я самый главный, у кого нет слов.

Я засмеялась. Правда засмеялась, коротко, и сразу стало странно: чужой звук в квартире.

— Всё, руки в рукава, — сказала мама. — Я опаздываю.

Мы вышли втроём. Во дворе было сыро и черно, снег за ночь осел и посерел. Мишка шёл впереди и лупил ногой по льду.

До третьего урока оставалось три часа.

Первый урок я не помню. На втором всё время трогала пальцем отломанный угол парты, острый. Трогала, пока не заболел палец.

Спорим, вы уже придумали, что я должна была ей сказать? Ну вот у меня тоже было придумано. Двадцать вариантов. Я даже выбрала лучший.

Дверь в кабинет литературы на доводчике: закрывается сама, медленно, и всё это время ты стоишь и не можешь передумать.

— Ань? — Марина Витальевна сидела за столом и проверяла тетради красной ручкой. — Заходи, чего в дверях. Ты по поводу сочинения?

— Не по поводу сочинения.

Я встала у первой парты. Сесть она не предложила, а сама я не села.

— Вы говорили, что после третьего свободны.

— Говорила. — Она поставила галочку в тетради и отложила её. — Слушаю.

И тут все двадцать вариантов из головы вынуло. Я молчала секунд десять. Десять секунд — это очень долго, если вы стояли когда-нибудь молча перед взрослым, который смотрит.

— Я не справляюсь, — сказала я.

Голос был чужой. Я слышала его как будто с другого конца класса.

— В смысле — по литературе?

— Нет. Вообще.

Она сняла очки и отложила ручку. Это, наверное, была самая правильная вещь за весь разговор.

— Так. Подожди. Что значит «вообще»?

— Я не знаю, как объяснить. — Зубы у меня были сжаты, разжать не получалось, и говорить сквозь них было трудно. — Я не могу ничего. Ни делать, ни хотеть. Я лежу целый день, и это не потому что ленивая. Я правда не могу встать. И мне ничего не интересно, даже то, что раньше. И ещё... — я запнулась, — я иногда не помню, где была.

— В смысле не помнишь?

— Забываю. Куски.

Она молчала. И я поняла, что напугала её. Не «ой, ужас», а — она не знала, что теперь с этим делать, и это было видно по лицу.

— Ань, а ты высыпaeшьcя?

— Не сплю почти.

— Ну вот. — Она сказала это с облегчением, слишком быстро. — Вот тебе и «не могу». Я в декабре сама на автомате хожу. Темно с утра, темно вечером, витаминов ноль. Тут кто хочешь ляжет и не встанет.

— Это не из-за темноты.

— А из-за чего?

Вот на этом вопросе всё и закончилось, только мы обе ещё какое-то время говорили.

Потому что я не знала, из-за чего. Не было места, куда можно ткнуть пальцем. Меня не били, не выгоняли, у нас нормальная семья. Я стояла и понимала: сейчас скажу «не знаю» — и это прозвучит как «ничего не случилось». А ничего и не случилось.

— Не знаю, — сказала я.

— Дома-то всё нормально? Мама, папа?

— Нормально.

— С девочками не поссорились?

— Не ссорились.

Она вздохнула и потёрла переносицу там, где остался след от очков.

— Ань, ну послушай. Тебе четырнадцать. В четырнадцать всё вот так наваливается, это правда. У меня дочь в твоём возрасте вообще... — она махнула рукой. — Прошло. Не сразу, но прошло.

Я кивнула. Я всегда киваю.

— Слушай, а может, вам к врачу? Кровь сдать, гемоглобин. У меня коллега так полгода мучилась, оказалось — щитовидка.

— Наверное.

— Ты маме говорила?

— Нет.

— А почему?

Я не ответила. Как это объяснить? Мама испугается. Начнёт искать, где она виновата, и найдёт, и потом это станет моей виной — что она нашла.

— Хочешь, я ей позвоню? — сказала Марина Витальевна. — По-хорошему. Просто скажу, что ты неважно выглядишь.

— Не надо!

Это вышло громко. Так громко, что мы обе замолчали и стало слышно, как в коридоре кто-то бежит и орёт.

— Хорошо, — сказала она тише. — Не буду. Но ты тогда сама, ладно? Не тяни с этим.

— Ладно.

Она открыла ежедневник и что-то записала. Я стояла близко и видела: «Мельникова» и закорючка рядом. От этого мне стало... не легче. Ровнее. Я хотя бы существую на бумаге у человека, у которого таких, как я, тридцать штук.

— И вот что. У нас Ольга Андреевна есть, психолог. Кабинет за столовой, там табличка. Ты сходи, а? Она нормальная, честно, она не из этих.

— Угу.

— Не «угу», а сходи. — Она посмотрела на часы над доской. — Так, у меня седьмой «б» сейчас. Ань...

Она чуть не сказала что-то ещё. Я видела, как она это чуть не сказала.

В дверь уже пёрли, между партами повисло чьё-то «а чё, контрольная?!».

— Ты, главное, не тяни, — сказала она.

Я вышла в коридор.

Меня не прогнали. Меня выслушали, мне ни разу не сказали «не выдумывай». Меня даже записали в ежедневник.

Меня просто передали дальше по коридору.

Кабинет Ольги Андреевны и правда за столовой. Я нашла его во вторник, на большой перемене. Обычная бежевая дверь, на ней лист А4 скотчем по четырём углам: «Педагог-психолог. Пн, Ср: 9:00–14:00», ниже от руки: «Чт — по договорённости». Я постояла напротив, у батареи, держалась за неё, пока не стало жечь.

В среду я дошла до неё снова. Даже руку подняла постучать. И тут изнутри засмеялись — женщина и какая-то девчонка, весело так, будто там ничего страшного не происходит. И я ушла.

Не потому что надо мной, я понимаю, что не надо мной. А потому что подумала: войду, она спросит «что случилось», я скажу «ничего» — и это «ничего» будет висеть между нами до звонка.

Оказывается, попросить о помощи — это не один раз собраться с духом. Это собираться с духом каждый раз заново. И каждый раз с нуля.

В тот же день в гардеробе меня окликнула Кира.

— Мельникова! О, слушай, у тебя есть двадцатка? Я карту дома забыла.

Она стояла в новой куртке, с двумя девочками из «б», и они ждали, и от этого всё надо было делать быстро. Я достала кошелёк. Там было сто.

— Сдачи нет.

— Да я отдам! — Она взяла сотку. — Реально отдам, завтра.

— Ага.

И они пошли. У выхода она обернулась и крикнула:

— Спасибо!

Вот и поговорили.

Сорок семь непрочитанных, ни одного повода написать за два месяца — а тут понадобилась двадцатка, и сразу «Мельникова, слушай». Я даже не обиделась. Я стояла и думала, что могла бы ответить что-нибудь смешное. Раньше бы ответила. У меня всегда было чем ответить.

Сотку она не отдала. Я и не ждала.

Ночью я встала и пошла на кухню.

Там было темно и холодно, батарея под окном еле тёплая. Я включила чайник — чтобы хоть что-то гудело. Он перед выключением набирает такой гул, будто сейчас взлетит, а потом щёлкает. Я села на табуретку и стала ждать этот щелчок.

Чайник щёлкнул. Я не стала наливать.

Потом я взяла телефон.

Я не знала, что искать. У меня нет слов для этого. Набрала «почему ничего не хочется делать» и стёрла. Набрала «как понять что с тобой» — и стёрла, не дописав: звучало так, будто я себя накручиваю. В итоге написала: «мне четырнадцать и я не могу ничего объяснить».

Перед поисковой строкой я стеснялась больше, чем перед Мариной Витальевной.

Первые ссылки были про учёбу и мотивацию. Потом форум, где взрослые тётки писали друг другу «а вы попробуйте её нагреть». Потом статья с картинкой девушки у окна — красивой такой девушки, у которой явно всё в порядке.

А потом была страничка, где сверху крупно стояло: «Если тебе плохо и не с кем поговорить — тебя выслушают. Бесплатно, круглосуточно, анонимно».

Те же слова, что на жёлтом плакате у медкабинета. Только теперь под ними были цифры: 8-800-2000-122

А ниже, отдельно, короткий: 124.

Я смотрела на них с минуту.

Я думала, там будет сложнее. Что надо записаться, ждать, доказывать, что тебе правда плохо, — а тут номер. Как в магазин позвонить.

«Анонимно» — за это слово я и зацепилась. Анонимно — значит, не надо, чтобы у человека было лицо. Не надо, чтобы кто-то потом смотрел на меня в коридоре и помнил.

Я открыла заметки. Их у меня всего две: пароль от вайфая у бабушки, который уже не нужен, и список к дню рождения Мишки от прошлого года.

Я создала третью и переписала цифры руками. Не скопировала — переписала, по одной, как в диктанте. Название не придумала, оставила пустым.

Потом положила телефон экраном вниз.

Я не собиралась звонить. Честно: в ту ночь я и не думала, что позвоню. Пусть лежит там, между вайфаем и списком подарков.

Пока я здесь — пусть будет.

Утром я первым делом проверила, не приснилось ли. Была на месте.

В четверг я не позвонила. В пятницу тоже. В субботу я весь день собиралась и не позвонила.

И вот что странно. От того, что номер лежал в телефоне, стало чуть спокойнее — как будто у меня теперь есть запасной выход, и неважно даже, воспользуюсь я им или нет. Я проверяла: открою заметки, посмотрю на цифры, закрою. Раза четыре в день.

В субботу вечером Мишка притащил ко мне костюм и объявил:

— Осталось десять дней.

— Чего?

— Утренника. Мама сказала, десять. — Он натянул цилиндр на голову и посмотрел на меня через прорези. — Ты придёшь?

— Приду.

— А точно?

— Мишк.

— Просто ты сказала «завтра» тогда, и не было завтра, — сказал он спокойно, без обиды. Как будто сообщил, что на улице минус.

Он ушёл, а я осталась сидеть.

Через десять дней я должна стоять в актовом зале среди чужих мам и смотреть, как мой брат светит. И быть при этом человеком, а не тем, кем я стала. Где взять этого человека за десять дней, я не знала.

Я оделась и вышла из квартиры.

Не на улицу. Поднялась на два этажа выше нашего, туда, где никто не ходит: площадка перед чердачной дверью, лампочка не горит, пахнет краской и кошками. Пятнадцать ступенек до пролёта, потом ещё пятнадцать. Раньше я считала ступеньки, чтобы дойти. Теперь считала, чтобы не развернуться.

Села на верхнюю. Бетон холодный — я это почувствовала не сразу, секунд через двадцать.

Достала телефон. Открыла заметки.

Руки тряслись, и я на них разозлилась: ну чего вы, это просто звонок, там даже не узнают, как меня зовут.

Первый раз я сбросила на втором гудке. Как будто телефон стал горячий.

Потом придумывала первую фразу. Не получалось ни одной: «алло, у меня ничего не случилось» — так же нельзя начинать. Спросят, что произошло, а мне нечего ответить, и они поймут, что я занимаю линию, пока кому-то правда нужно.

Внизу хлопнула дверь лифта, звякнули ключи. Я ждала, пока стихнет.

Второй раз сбросила, не дождавшись гудка.

Ну давай. Ну что тебе будет.

Я вдохнула, сколько получилось, — получилось немного, — и набрала третий раз.

Пошли гудки.

Глава 6. Голос на том конце

— Телефон доверия, здравствуйте.

Я не сказала ничего.

Вообще ничего. Сидела на бетонной ступеньке, прижимала телефон к уху так, что заболело, и молчала. У меня в голове было пусто, как будто кто-то выключил свет во всей квартире сразу.

— Алло? — Голос женский, обычный, немножко хриплый, как будто она сегодня много говорила. — Я тебя слышу, если что. Может быть, ты пока не готова. Я подожду.

Я потом сто раз прокручивала эти первые секунды. Потому что она не сказала «говорите» и не сказала «что у вас случилось». Она сказала «я подожду».

— Здравствуйте.

Голос у меня был как у чужой девочки, которая сипит.

— Здравствуйте. Меня зовут Наталья. А тебя как называть?

— Аня.

— Хорошо, Аня. Ты откуда звонишь, из дома?

— С лестницы.

— С лестницы, — повторила она. Не удивилась. — Замёрзла уже?

Я глянула на свои руки. Пальцы были красные и не гнулись.

— Немножко.

— Ты можешь никуда не спешить, я не тороплюсь. Если надо, ты просто помолчи, а я побуду. Годится?

— Угу.

А дальше у меня всё поехало.

Не в смысле красиво, как в фильмах. У меня просто потекло из носа, и глаза защипало, и я вытирала лицо рукавом куртки, и в трубке это, наверное, было слышно, потому что дышала я как после физры. Мне было жутко стыдно. Я даже отвела телефон в сторону, чтобы она не слышала.

— Аня? Ты здесь?

— Да. Извините.

— За что?

Я не знала, за что. За то, что реву в трубку незнакомому человеку в субботу вечером. За то, что позвонила, хотя со мной ничего не произошло. За то, что вообще существую в таком виде.

— Просто у меня ничего не случилось, — выговорила я. — Я, наверное, зря звоню. Тут же людям правда плохо, а я...

— Аня.

— Что?

— У нас нет правила, что должно быть достаточно плохо. Честно, нет такого правила. — Она помолчала. — Ты уже позвонила. Значит, зачем-то тебе это было нужно. Давай с этого и начнём.

Сейчас я скажу, а вы не смейтесь: я после этих слов минуты две не могла говорить. Потому что готовилась защищаться. Я три дня придумывала, как буду доказывать, что мне действительно плохо, у меня даже аргументы были — тройки, три часа, кровать. А защищаться не пришлось, и я как будто с разбегу влетела в открытую дверь.

— Расскажи, как это у тебя бывает, — попросила Наталья.

— Как бывает?

— Ну вот сегодняшний день. Как он у тебя прошёл?

Странный вопрос. Я думала, спросят «что случилось», а она — про сегодня.

— Никак. Я лежала. Потом пришёл брат, мы поговорили. Потом я вышла сюда.

— А ела сегодня?

Я задумалась. Правда задумалась, честно вспоминала.

— Утром чай. И вечером я, кажется, хлеб ела. Не помню.

— Так бывает каждый день или последнее время?

— Последнее время. Месяца два. Или три.

— Три месяца, — повторила она, и я услышала, как она что-то записывает. — А спишь?

— Я лежу.

Она не стала уточнять, что это значит. Просто сказала:

— Понимаю.

— А раньше тебе что нравилось? — спросила она через паузу. — Не сейчас, а вот когда было нормально.

— Музыка.

— И сейчас слушаешь?

Я хотела ответить «слушаю», честное слово. Оно уже почти вылетело.

— Я в наушниках хожу, — сказала я вместо этого. — Только там ничего не играет. Я их просто надеваю, чтобы ко мне не лезли.

Наталья ничего на это не ответила. Не сказала «ох» и не сказала «ну надо же». Она помолчала ровно столько, сколько нужно, чтобы я поняла, что она услышала.

— Давно так?

— С осени.

И я вдруг стала говорить. Не по порядку, кусками, перескакивая: про то, что я вообще ничего не хочу, даже то, что раньше хотела; про то, что у меня из головы вываливаются слова и куски дней; про три часа, которых я не помню, и как никто не позвонил; про то, что я в понедельник сказала учительнице, что не справляюсь, а она ответила про декабрь и гемоглобин.

Я говорила, наверное, минут десять подряд. Я столько подряд не говорила месяца три.

Внизу хлопнула подъездная дверь. Кто-то пошёл по лестнице вверх, шаркая, с пакетами, и я замолчала и вжалась в стену, как будто меня застукали за чем-то запрещённым.

— Аня?

— Тут человек идёт, — прошептала я.

— Я подожду, — отозвалась она. — Я тут.

Ш

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.